

ХАЗОВ

Рассказ

Хазов сильнее вобрал голову в плечи, быстрым точным движением поправил очки на переносице и, сжав кулаки, ждал, когда мы наконец осмелимся и приблизимся, ждал напряженно и чутко, прислонясь спиной к серому потрескавшемуся бревну фонарного столба. Шапку он потерял еще во дворе школы, и теперь его светлые послушные волосы струились слипшимися прядями по бледному, мокрому лбу. Дышал он тяжело. Легкий пар вырывался из его рта плотным стремительным облачком и тут же таял.

— Слева зайти, — не то попросил, не то приказал мне Гильдя. — У меня он не проскочит.

Странное дело: я все-таки послушался его и, машинально зачерпнув горячей ладонью липкого снега, судорожно, торопливо скатывая плотный снежок, стал обходить Хазова, отрезая ему единственный путь к бегству — по узкой, прибитой вчерашней капелью наледи вдоль забора.

Впрочем, и так было ясно, что Хазов никуда не побежит, что он именно тут решил принять бой. Да и вряд ли он рискнул бы отступить по этой ледяной корке вдоль забора, скользкой и покатой. Нет, он, конечно, будет драться.

Маматюк заходил справа, широко и нахально разлапившись. Он дышал хрипло, с присвистом и отплевывался. Все не мог прийти в себя, после того как Хазов вдоволь накормил его снегом в школьном дворе. Да и курить Мамочке пора бы бросить: совсем уже задыхаться стал после бега.

Хазов тоже никак не мог справиться с дыханием, но это, наверное, от волнения. Он то и дело облизывал алым теплым языком, от которого шел пар, раскровавленную губу. Это Гильдя ширнул ему кулаком. Одно стекло его очков наполовину было залеплено снегом, но Хазову некогда было почистить.

Мы приближались медленно.

Хазов переступил с ноги на ногу не то от испуга, не то от нетерпения, чтобы скорее уж все началось, чтобы уж мы наконец напали, чтобы биться с нами беспощадно и люто, до конца, не на жизнь, а на смерть, как, наверное, бьется загнанный волк, окруженный шумной собачьей сворой.

Нет, мы не шумели, мы шли на него осторожно, тихо и страшно шли, наверняка. И должно быть, со стороны мы скорее напоминали хладнокровных, натасканных, уверенных в себе волкодавов, натравленных безжалостным торжествующим хозяином на обреченного зверя.

Хотя как следует мне некогда было подумать о том, как выглядим мы со стороны. Я лишь мельком успел удивиться: зачем мне драться с этим Хазовым?

Все началось с пустяка, если не считать старые обиды, — с того, что сегодня на первой перемене Гильдя сказал Хазову:

— Не смотри на нее так! Мне не нравится.

Он имел в виду Таньку Ежелеву из нашего класса. Мы-то знали, почему Гильдя заводится. Знал небось и Хазов, а если не знал, то это было как-то не похоже на него. Хазов, хоть и носил очки, взгляд имел острый, цепкий. Мы это сразу поняли, как только он стал редактором стенной газеты. И как это он умудрился не заметить, что Танька Ежелева уже давно Гильде нравится? Мало того: Хазов даже решил вчера проводить Таньку домой после уроков, даже портфель ее всю дорогу нести и о чем-то даже с нею разговаривать.

Поэтому сегодня Гильдя и подошел к нему на перемене.

— А как я смотрю? — упрямо спросил Хазов и близоруко сощурился, сняв очки.

— Пристально! — усмехнулся Гильдя, брезгливо скривив свои смуглые полные губы.

Хазов промолчал, достал носовой платок, протер очки и надел их.

Гильдя, должно быть ища поддержки, посмотрел в нашу сторону и подмигнул для бодрости.

Мамочка хохотнул на всякий случай. Что с него взять — все бы человеку веселиться.

— Усёк, кролик? — спросил Гильдя и посоветовал: — Прижми ушки и не высовывайся!

— А это видел?

И Хазов показал ему кукиш.

Кто-кто, а я-то знал, что Гильдя не прощает таких шуток. Не то чтобы я испугался за Хазова, а так только — беспокойно как-то сделалось на душе и защемило сердце. Уж Гильдя найдет, как отомстить!

Этот Хазов был какой-то странный, ей-богу. Таких странных, как он, пацанов не то что в классе — во всей нашей школе, пожалуй, не было.

Он к нам пришел год назад: тихий, белобрысый, в очках с круглыми стеклами. С виду даже беззащитный и застенчивый. Одежда всегда сидела на нем ладно, был он аккуратный, но вместе с тем как бы хрупкий, ранимый, дунь на него — рассыплется.

Пришел он, сел на первую парту к Зойке Забаре и замаячил своей белобрысой макушкой, как солнечный зайчик перед глазами. А так — не видно его, не слышно. К доске вызовут — бубнит что-то себе под нос, с последней парты и не разобрать.

Учился он так себе, с тройки на четверку. Разве что по литературе выделялся. Но это у нас не ценилось. В нашем классе любили точные науки. Так что и голосок у Хазова был тонкий, и взгляд как будто робкий: убогий не убогий — не поймешь его.

Нет, мы, конечно, встретили его нормально. Раз даже с собой после уроков на заброшенную стройку позвали в пристенок играть. Поговорили дорогой по душам, узнали, откуда он такой взялся, белобрысый и смиренный.

Это теперь я понимаю, что на стройку Хазов пошел тогда, чтобы нас не обидеть. Он, оказалось, и в пристенок-то сроду не играл, а пойти пошел. Вежливый.

Гильдя еще показывал ему, как бить надо, как пальцы тянуть, правила игры объяснял. В общем, все бы хорошо у нас с ним было, не явись на стройку Кытя.

Кытя был грозой школы, его боялись. И как он нас уследил тогда?

— Потренировались и будя, — сказал Кытя с порога. — Я могу и так ваши карманы обчистить, но это скучно. Сбачаем!

И достал свою битую.

Я до сих пор ее помню, и до сих пор стыдно, что, кабы не Хазов, я ведь сбавил бы с Кытей. А он бы этой битой... Битой у Кыты была медаль «За отвагу». Солдатский орден, как говорил мой отец.

Достал ее Кытя, подкинул на грязной ладони.

— По сколько играем? — спросил.

Наши замерли все от неожиданности. Даже Маматюка проняло. Стоит, помню, на медаль смотрит, лоб наморщил — что-то соображает.

— По пятаку, — предложил Гильдя.

Он-то не растерялся. Гильдя у нас находчивый.

— Только пачкаться, — отмахнулся Кытя. — По гривеннику! Пока это я ваши медяки по пятаку отыграю...

— Еще поглядим, кто у кого, — неуверенно сказал Гильдя. Кытя даже не взглянул в его сторону.

— Цыц! — сказал грозно. — Ухи пообрываю! По гривеннику. Поехали...

И как даст медалью о стенку. Она зазвенела тоненько-тоненько, благородно и оскорбленно, упала на грязный цементный пол и подкатилась к ногам Хазова. Легла лицом вверх, той стороной, где танк и самолеты отчеканены. Лежит и сияет тусклым серебром.

— Бей ты, умник, — ткнул Кытя кулаком Гильде в плечо. Гильдя вынул свою битую — круглую стальную шайбу, — ударил, нарочно, наверное, чтобы от медали подальше.

— Ты, длинный! — велел Кытя Маматюку.

Мамочкина бита — ржавый круглый нож от мясорубки, — пронзительно противно звякнув, тоже легла и затихла далеко от медали.

— Ты! — крикнул мне Кытя.

И я полез, полез потной рукой в карман штанов, нащупал свою шайбу, точно такую же, как у Гильди... Я знал, что с Кытей лучше не шутить, не медлить, не мямлить. Ему ничего не стоило человека по лицу ударить.

И я бы достал ее, эту проклятую битую, и вступил бы в игру, и играл бы по пятаку, по гривеннику, по сколько угодно бы было этому Кыте, играл бы, пока не просадил все свои деньги, скопленные на школьных завтраках.

Я испугался.

Хазов наклонился, придерживая рукой очки, стал перед медалью на колени и взял ее с пола.

— И ты этим... — тихо сказал он, поднимая широко раскрытые глаза на Кытя. — Этим на деньги?

Хазов сжал медаль в кулаке — аж побелели костяшки пальцев — и сунул руку в карман.

Кытя не сразу сообразил, что произошло. Он только страшно вылупился на Хазова и громко хватанул воздуха разинутым ртом.

Хазов медленно снял очки и положил их дрожащей рукой в карман куртки, сощурился, как от яркого света, и, часто моргая, спокойно взглянул Кыте в лицо.

Да нет, ему, как и мне, как и Мамочке с Гильдей, было страшно, этому странному Хазову. Я видел, стоя сбоку от него, как слегка подергивалась его левая нога в колене, словно норовила пуститься в пляс. И мне почему-то даже легче тогда стало от того, что и Хазову страшно.

— А этот цыпленок откудова вылупился? — севшим голосом спросил наконец Кытя, не сводя помутневших от сдерживаемого бешенства глаз с бедного Хазова.

— Из микрорайона к нам, — услужливо доложил Гильдя. — Новенький.

Кытя обошел Хазова кругом, как неживого, остановился напротив и, протянув к нему руку, сказал с обманчивой лаской в голосе:

— А мы больше не бу-у-удем. Правда? Хазов не ответил.

Я видел, как трудно ему было сдержать дрожь в колене.

— Ложи сюда! — велел Кытя уже без церемоний. — Прощу на первый раз.

— Не отдам! — упрямо сказал Хазов шепотом и отступил на шаг. И Кытя его ударил — подлю, в живот, ниже пояса."

Хазов охнул, согнулся в три погибели и сел на пол. Только руки с медалью из кармана не вынул.

— Давай! — прохрипел Кытя, наклонившись к нему.

Хазов помотал головой, то ли отказывая ему, то ли чтобы в себя прийти от удара, и стал подниматься.

Когда он выпрямился, Кытя ударил снова. Он знал, куда бить, чтобы вышло больнее. Он бил и бил, но Хазов вставал перед ним, тяжело и упрямо, молча вставал для следующего удара.

Что-то грозное кричал Кытя, мелькали его кулаки, перекошенное злостью лицо было бледным, и на нем, на диком этом лице, даже губы обесцветели и потерялись, даже глаза превратились в узкие, едва заметные щелочки.

— Отдашь! Отдашь!.. — хрипел Кытя.

Хазов терпеливо скрипел зубами, вставая с пола, снова падал, а мы стояли рядом как последние сволочи и смотрели, и трусили.

— Ну отдай, а? — взмолился вконец обессиленный Кытя. Хазов только сплюнул на пол кровью.

— Да ну тебя! — отчаянно, вроде бы даже с обидой в голосе выкрикнул Кытя, отвернулся и ушел ни с чем.

Медаль так и осталась у Хазова — за отвагу.

Я думал, он презирать нас станет после всего этого, а Хазов нет, простил, кажется.

Ей-богу, странный он все же!

— Что же ты ему не вмазал? — спросил его Гильдя, когда Кытя ушел.

— Не умею, — улынулся Хазов разбитыми губами. — По лицу бить не умею...

— Фанатик! — заключил на другой день Гильдя. Я промолчал.

Все-таки мы его предали, этого странного Хазова. Было только непонятно: как же он решился, как стерпел? Что же он, совсем боли не боится? Мне, помню, не хотелось признавать, что Хазову было больно, так же больно, как было бы каждому из нас, окажись мы на его месте.

Даже Маматюк, до которого, по утверждению Гильди, всегда как до жирафа доходит, хмыкнул тогда с сомнением,

поморщил лоб и сказал:

— И мой батя воевал...

Зачем только он об этом? Мой тоже воевал. А чей не воевал-то? Разве что отец Гильдина всю войну на оборонном заводе был главным инженером. Так ясное дело: все для фронта, все для победы. У него небось освобождение было от армии или что. там еще... Но от того, что Мамочка так просто сказал об этом, неожиданно просто, ни с того ни с сего, — от этого как бы еще стыднее сделалось. Гильдя и тот примолк.

И хоть прошел уже год, а все не избавиться мне от того стыда, не избыть его и себя не простить за предательство. Прямо не знаю, что же это такое!

Кытю уже упекли в колонию за поножовщину. Маматюк за год вымахал и стал выше всех в классе. Гильдя продолжает что есть сил тянуть на золотую медаль, а я перешел в последний класс детской художественной школы.

Мы по-прежнему держались втроем: Гильдя, Мамочка и я. Кто его знает, что нас связывало. Может быть, то, что учились вместе с первого класса?

Впрочем, Гильдя уже поговаривал, что последний год с нами дурака валяет, что уже в девятом серьезно засядет за учебники и на два года прикинется пайнкой, чтобы заработать примерное поведение в аттестат, — иначе золотой медали не выдать ему как своих ушей.

Хазов за это время так ни с кем и не сдружился. Правда, влюбилась в него Зойка Забара, но сам он не обращал на это внимания. Зойка любила и мучилась безответно.

Не то чтобы Хазов чураться нас стал после того случая на стройке — скорее мы его сторонились. Гильдя целую теорию по этому поводу построил: дескать, фанатик — он и есть фанатик, и неизвестно, что от него ждать, и, мол, кому он нужен со своими принципами, мол, от таких, как он, одни беды и пустые хлопоты, и вообще, мол, с такими скучно и муторно.

Видно, он Хазову своего предательства не мог простить, оттого и теоретизировал. Но что толку, что я это понимал, если сам Хазова предал?

Как-то раз, правда, Гильдя расщедрился, снизошел, послал нас с Мамочкой подбить Хазова с уроков в кино сорваться. Так сказать, сделал жест доброй воли, пошел на «вы».

Но Хазов отказался.

— Я этот фильм смотрел, — сказал он. — И вообще, неудобно с уроков-то...

Маматюк, которому сам бог велел стать взамен Кыти грозой школы, дал ему парочку подзатыльников.

— Мы протянули тебе руку, — изрек он словами Гильди, — а ты положил в нее камень.

Самому Мамочке до такой мудреной фразы век бы не додуматься.

— За что ты меня? — тихо спросил его Хазов.

— Чего? — удивился Маматюк.

— За что ударил? — уточнил Хазов, снимая очки и пряча их в карман.

— Иди ты!.. — отмахнулся Маматюк. Хазов не отставал:

— Нет, ну правда?

Мамочка и сам, должно быть, не знал, за что он его, а если и знал, вряд ли сумел бы объяснить. За странность, наверное, за эти дурацкие вопросы, за то, что у нас не принято было отказываться, когда тебе с уроков в кино предлагают сорваться, за тот случай на стройке. Да мало ли?.. Просто по праву сильного и вообще за тихость.

Мамочка постоял, посмотрел на Хазова сверху вниз, поморщил в напрасном усилии свой покаты́й лоб, соображая, видимо, что тут ответить, и не нашел ничего лучшего, чем вlepить Хазову еще подзатыльник.

Впрочем, он только захотел вlepить, замахнулся только.

Хазов неожиданно ловко увернулся от здоровенной загребушей руки Маматюка, перехватил ее в воздухе, развернулся всем телом и... Взметнулись вверх тяжелые, с медными гвоздиками в подошвах, Мамочкины ботинки, и сам он — преемник Кыти, новая гроза школы рухнул всей тушей на пол в школьном коридоре.

Мамочка не привык к такому грубому обращению.

Он поднялся на карачки, опасливо отполз на коленях от Хазова и, пробормотав обиженно и смущенно: «Да ну тебя...» — побежал жаловаться Гильде.

Ума не приложу: отчего это Гильдя так испугался? Точнее, не испугался, а так серьезно отнесся к тому, что Хазов поверг Маматюка. То ли Мамочку пожалел, то ли из-за того, что в классе возникла новая сила — Хазов? Хотя что значит «пожалел»? Когда это Гильдя жалел кого?

Просто, наверное, он привык командовать всеми. Его расчетливая голова, Мамочкина дурная сила — этот сплав, эта броня были у нас пока что несокрушимы.

А тут какой-то там Хазов, странный, непонятный, упорный Хазов, Хазов-фанатик, от которого — известное дело — неизвестно, что ждать.

— Придумал! — сказал тогда Гильдя, теребя по привычке мочку Мамочкиного уха. — Бойкот! Эмбарго! Блокада! Он спрашивает — молчим, пристаёт — посылаем подальше. Если с ним кто пойдет, отобьем. Я ему покажу, как наших Маматюков кантовать без спроса!

— Чего, чего? — удивился Мамочка.

— Молчи, дурак! — велел Гильдя и ущипнул его за ухо. — Для тебя же стараюсь!

Он не учел одного: Хазов и сам ни к кому не лез, в друзья не набивался. На переменах степенно ходил по коридору, заложив руки за спину, думал о чем-то. Даже первоклашки, что сновали всюду с диким визгом, относились к нему без опаски, как к неживому: бегали вокруг, цеплялись за ноги, наталкивались и отскакивали от него. Хазов будто и не замечал их.

Кончались уроки, он шел домой один.

Была у него общественная нагрузка, так и ее он дома исполнял, в одиночестве.

Хазов редактировал классную стенгазету.

Раньше редактором у нас Зойка Забара была. Она это дело Хазову и спихнула, а сама рядовой сотрудницей стала, утобы ее любимый Хазов давал ей поручения и вообще хотя бы глядел на нее почаще.

И опять он Зойкины надежды не оправдал. Как подходил какой праздник, Хазов приносил в класс уже готовую газету, с наклеенными листочками статей и заметок, с разделами «Спорт», «Юмор» и «Разное», с фотокарточками и коллажами. Он совал газету мне, скупно и уверенно объяснял, как написать заголовки, где виньетку пустить и что нарисовать еще, в соответствии с духом и значением приближающегося праздника. Я в нашей стенгазете числился художником.

Статьи и заметки Хазов писал сам, сам вел разделы «Спорт», «Юмор» и «Разное» и сам фотографировал, так что Зойке Забаре совсем не осталось дел возле него. Раньше-то ее в редакторах за красивый почерк держали, за усидчивость и прилежность, а Хазову и почерк ее был без надобности: он где-то сам на пишущей машинке все перепечатывал.

Писал он хорошо, а главное — всегда был в курсе всех дел класса, все слышал и подмечал, будто у него вторые уши имелись и еще одни глаза на макушке.

Наша классная, Аннушка, даже читала вслух два его сочинения по литературе и просила брать с него пример. Зря она это — только Хазова в краску вогнала.

— Брось ему газету рисовать! — предложил мне Гильдя, когда понял, что его бойкот не удался.

Я отказался. Все-таки газета была для всех. При чем здесь Хазов? Он ее только лучше сделал. А то читали бы до сих пор Зойкину трескотню о наших планах, которые никто не принимал, о душе коллектива, о том, что нам по плечу, и о том, о чем все и без нее прекрасно знали.

— Ренегат! — обозвал меня за это Гильдя незнакомым словом.

— Сам дурак и не лечишься! — огрызнулся я. На том и порешили.

А сегодня мы полчаса прождали его после уроков во дворе, за углом несуразно длинного здания нашей школы.

Мамочка хотел курить и все ныл об этом то мне, то Гильде. Но тот его не отпускал.

Вообще Маматюк как-то халатно стал относиться к своим правам и обязанностям грозы школы после того, как Хазов, ко всеобщему удивлению, поверг его на пол в коридоре. Раньше бы он, не таясь, давно бы достал сигареты и задымил в свое удовольствие.

— Ну, Гильдя... Это самое... Может, струхнул он? Уже слинял давно. А мы тут мерзнем, — ныл Маматюк, как больной зуб.

Я стоял, опершись о водосточную трубу, сжимал и разжимал кулаки, ощущая податливую упругость недавно подаренных ко дню рождения кожаных перчаток, и думал о Хазове, вернее, о том, зачем мне его бить.

Какое-то странное, мучительное противоречие, давно возникшее в душе, не давало мне покоя. Я даже боялся признаться себе, что Хазов мне нравится. Мне, кажется, хотелось сойтись с ним поближе, побывать у него дома, узнать, о чем это он думает на переменах, когда рассказывает по коридору, заложив руки за спину, и вообще узнать его, понять и подружиться с ним.

Да и что, собственно, такого, что Хазов проводил Таньку до дома, что нес ее портфель, что, наконец, она ему нравится? В восьмом классе у нас все как с ума посходили, перевлюблились друг в друга. Наверное, лишь мы с Мамочкой избежали этого сумасшествия. Надолго ли?

И сколько я уже видел, как дерутся из-за этих девчонок! Прямо закон: если двое влюбились в одну, значит, рано или поздно подерутся. Ну, влюбился в Таньку Гильдя, потом Хазов... Бедная Зойка! А мы с Мамочкой тут при чем?

И что изменится после драки? Танько, что ли, выбрать будет легче между ними? Опять же мы с Мамочкой...

Я спросил об этом у Гильди.

— Ты мне друг? — хлопнул он меня по плечу.

Теперь я и не знал, друг я ему или нет. То есть, конечно, наверное, друг: все-таки с первого класса всегда вместе, Гильдя, если математику списать или там по химии что, — всегда пожалуйста, или после уроков куда, или прогулять. Только Хазова бить мне не хотелось.

— Зачем мы его? — спросил я.

— А Танька? — удивился Гильдя.

— Да нет, — объяснил я, — зачем нам-то с Мамочкой?

— Ага! — согласился Маматюк. — Зачем? Я курить хочу...

— Боишься ты его, — сказал ему Гильдя. Мамочка, может, и вправду боялся, но вида не подал.

— Кто? Я? — геройски выпятил он могучую грудь.

— Тогда заткнись и жди молча! — велел ему Гильдя. Он так и не ответил на мой вопрос, и я спросил снова.

— Ну что заладил: зачем, зачем?.. — нервно вскрикнул Гильдя. — Тебе чего надо-то? Чтобы я правду сказал? Ну, слушай. Затем, что одному мне с ним не справиться. — Он посмотрел мне в глаза и развел руками. — Так-то вот. Только зачем тебе эта правда?

Ну да, зачем? Скажет тоже! Я вдруг, кажется, понял, что тяготило меня в нашей дружбе с Гильдей, не то чтобы даже понял — скорее почувствовал: мне не хватало правды. Гильдя всегда что-то не договаривал, только приказывал: делай так-то и так-то. А что? Зачем? Почему? Он отшучивался, умалчивал. Даже если и брался что объяснить, как, например, сегодня, когда настраивал нас против Хазова, если снисходил до объяснений, то говорил не то и не так, вокруг да около.

— Маматюков через себя кантует, наших девочек отбивает опять же, — полушутя-полусерьезно излагал он нам с Мамочкой. — Можно сказать, цветы класса рвет своими чужими руками. Таня Ежелева! Мы ее с пеленок знаем. Растили, защищали ее от всяких там вредителей из других классов, даже снежками в нее не пуляли и не дергали в детстве за косы! И вот она расцвела, созрела в заботливых руках, приобрела, так сказать, товарный вид, но приходит этот, без роду, без племени, приходит и рвет цветок с нашей клумбы...

Я так и не успел разобраться во всем этом до конца, потому что из школы вышел наконец Хазов.

Портфели мы давно попрятали в деревянный, ящик, в котором школьный дворник дядя Петя хранил свои метлы, лопаты и старый худой резиновый шланг. Мы были налегке, а Хазов шел, естественно, с портфелем. Я почему-то с досадой подумал о том, что портфель может помешать ему в драке, будто и не я, а кто-то другой должен был выйти навстречу Хазову.

А собственно, почему должен?

— Иди сначала ты, — шепнул Гильдя Маматюку,¹ осторожно выглядывая из-за угла.

Оказалось, он уже распределил роли в предстоящем деле.

— Почему я? — искренне удивился Мамочка, и я подумал, что он не так глуп, как кажется. Действительно: почему он?

— Слабо? — спросил его Гильдя, как маленького. — А кто ныл, что курить хочет? Скорее сделаешь — скорее покуришь. Иди!

Мамочка пожал плечами, вышел из-за угла и вразвалку направился к Хазову.

От волнения у меня вспотели ладони, и пришлось снять новенькие перчатки.

Слышно было, как Маматюк позвал свою жертву, не особенно церемонясь в выборе слов:

— Ты эта... Хазик... Подь сюды. Кому сказал?! Щас в рожу дам... Впрочем, сказал он это неуверенно и не так грозно, как, наверное, хотелось Гильде, и тот, толкнув меня локтем в бок, прошептал досадливо:

— Не тот Маматюк нынче пошел. Не тот! Руки крюки, морда ящиком... Все это одна видимость.

Это прозвучало так, словно Мамочка и не человеком был для него, а каким-то роботом самого допотопного поколения, которого где-то когда-то отштамповали, на каком-то заводе; и выпустили в продажу, чтобы можно было купить и пользоваться им в своих целях.

Я выглянул из-за угла и увидел, что Хазов уже кунает бедного Мамочку лицом в сугроб.

Мне и без того обидно сделалось после Гильдиных слов, а тут я и вовсе за Маматюка расстроился. Умел все-таки Гильдя людей срамливать!

Раздумывать было некогда. Я кинулся к Хазову и, обхватив его сзади руками, оттащил от барахтающегося в снегу Маматюка.

Хазов придавил меня своим крепким мускулистым телом и норовил извернуться и вырваться, но я держал его крепко.

Тут-то Гильдя и выскочил из-за угла.

— Внимание! Выхожу на сцену! — крикнул он на бегу и, вместо того чтобы помочь Мамочке выкарабкаться из сугроба, склонился над беззащитным Хазовым и пару раз ширнул ему кулаком в лицо, как-то торопливо ширнул, словно боялся получить сдачу.

Я из-под Хазова успел рассмотреть перекошенное ненавистью Гильдино лицо и понял, что он, как Кытя, будет, пожалуй, бить еще и еще, если поймет, что сдачи не будет. И я разжал руки, чтобы Хазов смог встать ему навстречу.

Хазов, низко наклонив голову, вдруг побежал от нас.

Гильдя на всякий случай шарахнулся было в сторону, но, сообразив, что зря, кинулся поднимать со снега Маматюка.

— Скорей! За ним! Уйдет! — покрикивал он на нас с Мамочкой.

Хазов добежал только до школьных ворот и там почему-то остановился, не то поджидая нас, не то размышляя, как вырвать портфель свой и шапку, оставшиеся на поле боя.

Пока мы вставали и отряхивались, Гильдя пинком отбросил портфель, а шапку Хазова яростно втоптал ногами в снег.

Мамочка кашлял и отплевывался. Мокрый снег стекал с его красного лица, волосы слиплись, и брюки на коленях были мокрыми.

— Покурил, значится, — проворчал он, утирая лицо рукавом пальто.

Хазов по-прежнему стоял у ворот.

Наконец мы побежали к нему, чтобы уж догнать, схватить, отомстить.

Какая-то дикая сила несла меня на него, будто он и вправду был теперь виноват, будто не мы, а он на нас напал. Я вырвался вперед.

Хазов, придерживая очки, кинулся за угол школы, свернул в Трамвайный переулок и на несколько мгновений исчез из вида. Сзади тяжело дышал и кашлял Маматюк.

За углом Хазова не оказалось, так что напрасно я обегал угол стороной, опасаясь внезапного нападения. Хазов стоял метрах в пятидесяти и, словно дразнил, поджидал, пока все мы не выскочим в переулок. Дождавшись, он снова засеменял вдоль забора, часто оглядываясь и как бы приглашая этим скорее Догнать его.

Я сделал отчаянный рывок, но и Хазов прибавил ходу. Меня никогда не хватало на длинные дистанции. И тут тоже я вскоре почувствовал, что закололо в боку, и сбавил скорость.

Мамочка еле плелся за мной.

Вперед, таким образом, вырвался Гильдя, но, заметив, что мы его не поддержали, тоже приотстал. И тогда Хазов остановился.

До последнего момента я думал, что это очередной его трюк в игре с нами, но Хазов, прислонившись спиной к фонарному столбу, вроде бы и не собирался больше двигаться с места.

Да, со стороны, наверное, могло показаться, что мы его загнали, как волка на охоте. Но скорее это он нас измотал, то поджидая, то уходя в отрыв, сбивая нам дыхание и пытаясь растянуть.

А губу-то ему Гильдя крепко разбил.

— Ну что, очкарик, поговорим по душам? — ухмыльнувшись, как ни в чем не бывало обратился он к Хазову.

— С тобой или со всеми? — тихо спросил Хазов, чутко переводя взгляд с Маматюка на Гильдю, на меня, снова на Маматюка.

Я не сразу уловил смысл его вопроса.

Плотно скатанный снежок обжигал кожу и таял, словно плакал мне в ладони.

— А ты не переживай. Я ж тебя предупреждал, кролик: сиди, не высовывайся! У нас, братец, один за всех, а все за одного, — ответил Гильдя, кривя губы в насмешливой улыбке.

— На одного! — поправил его Хазов.

Я выронил снежок из рук. Как же это раньше не пришло мне в голову? Трое на одного! Нас же больше, просто больше, и это нечестно. Трое на одного... На одного!

— Он прав, — сказал я Гильде. — Так нельзя. Нас больше! Хазов облизал разбитую губу и сплюнул на снег. Гильдя посмотрел на меня как на идиота.

— А ты только сейчас это заметил? — ехидно спросил он.

— Да, — невольно вырвалось у меня.

— Какие мы наблюдательные! — развел Гильдя руками. — Это правда, — вдруг согласился он. — Нас много больше. Правда-правда... Но ты мне так и не ответил: зачем она тебе? Зачем?! — крикнул он, хотя стоял от меня в трех шагах.

Что значит «зачем правда»?

Я посмотрел на Хазова, на Мамочку, который даже руки опустил, не зная, что делать дальше, на внимательное, обострившееся в злости лицо Гильди, снова на Хазова...

Мне показалось, он едва заметно улыбнулся мне. Хотя вряд ли — с разбитой губой не очень-то поулыбаешься.

Зачем же мне правда? Зачем она вообще? Но это же правда! Чтобы была...

— Ну! — поторопил меня Гильдя.

— Как хочешь, а я его бить не буду, — сказал я, невольно опуская голову, словно была за мною какая вина перед ним.

— Ну-ну... — проговорил Гильдя задумчиво и тут же огрызнулся: — Не очень-то и хотелось!

Я отошел в сторону.

— Катись! — крикнул Гильдя мне в спину. — Без тебя!.. Я вздрогнул от его окрика и обернулся.

Мамочка снова принял боевую стойку, Гильдя взял влево и сделал осторожный шаг к Хазову. И снова ведь было нечестно, снова на одного! Вдоль забора, по наледи, я забежал с другой стороны столба и стал рядом с Хазовым, как раз напротив Гильди.

— Вот так, — сказал я ему, глядя в сузившиеся карие глаза. — Оно верней!

Теперь-то все мне было ясно, аж полегчало на душе. Теперь посмотрим, нужна ли она, правда. Я мельком подумал, что должен был сделать это еще тогда, на стройке, — встать против Кыти. Ну ничего, зато теперь!..

Гильдя потоптался на месте, презрительно сплюнул сквозь зубы и пошел прочь.

— Ну их, Мамочка! — обернувшись, крикнул он. — Оставь... Маматюк поглядел на него, на меня, наморщил лоб, пожал плечами и поплелся следом за Гильдей, опустив голову.

Мы с Хазовым тоже пошли на школьный двор за портфелями и его шапкой.

— Холодного приложи, — посоветовал я, заметив, что губа его еще кровоточит.

Хазов зачерпнул снега и сунул в рот.

— Ты что же, испугался нас, когда драпанул? — спросил я, чтобы не молчать.

Он выплюнул красный снег.

— Да нет, — сказал тихо, — хотел, как Спартак... Читал у Джованьоли? Растянуть и по одному...

— Давно борьбой занимаешься? — спросил я.

Хазов на ходу снял очки, выдул снег и протер линзы носовым платком.

— В секцию записался? — уточнил я.

— Знаешь, — чего-то засмутился Хазов. — Смешно сказать. Помнишь, когда Кытя меня?..

Еще бы я не помнил!

— Притащился тогда домой, — продолжил он тихо. — Все болит. Обидно — хоть плачь! Думаю: что же я хлюпик такой? Ну и взял самоучитель по самбо. Тренировался... дома... на подушках...

Он улыбнулся, и брызнула кровь из разбитой губы. Пришлось ему опять снег жевать.

— Я и не думал, что прием получится, — признался он, когда унялась кровь. — С Маматюком... Ему небось больно было?

— Ты смог, — сказал я, опуская глаза. — Это я тогда...

— Что? — не понял Хазов.

— За правду, — объяснил я. — За медаль.

Во дворе возле своего ящика нас дождался дворник дядя Петя. Он уже держал за шкуру Гильдю и Маматюку крутил ухо. Нас ему и не хватало! Дядя Петя улыбнулся нам как родным и спросил:

— Вас пригласить или сами дорогу найдете? Вещички ваши уже в кабинет снес.

И мы следом за всеми пошли с Хазовым к завучу — разбираться.